Произведения лауреатов и дипломантов Межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт. 2020» - Малая проза

Номинация «Малая проза» 2020

Колмогорова Наталья Ивановна (персональный номер участника - 25)
Коротеева Ирина Олеговна (207)
Леонов Роман Васильевич (Чепкасов Артем Леонович) (183)
Халдина Елена Вадимовна (103)
Москаленко Юрий Николаевич (161)
Гошев Сергей Аркадьевич (19)
Живнач Светлана Геннадьевна (250)
Синицкий Геннадий Николаевич (74)
Чернов Сергей Валентинович (224)

Первое место (золото) и звание лауреата **Колмогорова Наталья Ивановна –** Образование педагогическое. Участвовала и становилась лауреатом нескольких международных и всероссийских конкурсов. Член Союза Профессиональных литераторов. Живёт на станции Клявлино Самарской области.

Варежки

Похоронку принесли пополудни.

Ольгуня, девка молодая и расторопная, достала из сумки документ, шмыгнула носом, отёрла варежкой иней, осевший над верхней губой.

Наталья, увидав в руках почтальонши знакомую бумагу, тяжёлым кулем повалилась в сугроб, неловко подвернув левую ногу.

Рыхлый снег принял её в объятия, будто старую знакомую. Хрустнул глухо, осев под грузным Натальиным телом.

– А-а-а! – закричала Наталья, и горячий пар повалил из её ноздрей и рта так, как будто у загнанной вусмерть кобылы. Морозный воздух подхватил надрывный крик её и далеко разнёс по обледенелой околице.

– Вставай, Наталья Егоровна, – почтальонша силилась поднять женщину, но, не удержав равновесие, плюхнулась рядом в сугроб.

Искрящийся снежный вихрь мучнистой россыпью упал на побледневшее лицо Натальи, и тут же стаял в бегущих по щекам горячих слезах.

– Айда в хату, а то простудишься, – трясла её Ольгуня, но без толку. Наталья ничего не отвечала, только смотрела, не моргая, в февральское небо серыми, с поволокой глазами. В глубине этих глаз

угадывался не то небесный отсвет, не то сомнение, не то потаённая надежда.

Наталья охнула утробно, глухо, неловко перекатилась на бок и села… Вдруг слабое подобие улыбки озарило её лицо:

– Нет, Ольгуня, не могёт этого быть! Слышишь? Никак не могёт… Жив мой сын! Ошибка это, ей-богу, ошибка… Эх ты, кулёма!

Наталья выпростала руку из рукавицы, взяла у опешившей Ольгуни похоронную бумагу, сунула в карман цигейкового полушубка и, покачиваясь, побрела в сторону дома.

Ольгуня растерянно поглядела ей вслед, крепче затянула шаль, перебросила через плечо котомку и, непрестанно оглядываясь, двинулась по тропинке в противоположную сторону.

В сугробе, будто невольные свидетели случившейся драмы, остались две вмятины: одна, широкая и глубокая – Натальина, вторая поменьше – Ольгунина. Девке шёл осьмнадцатый год, и была она в самом соку. Счастье её бабье состояло в том, что перед самой войной дважды гуляла она за гумном с местным балагуром Васькой-плотником…

Дойдя до ближайшего проулка, Ольгуня оглянулась в последний раз и вдруг опрометью бросилась бежать, вспугнув сидящую на верхушке берёзы сороку. Птица тревожно застрекотала и, осыпав с веток щедрый иней, чёрной тенью метнулась прочь.

Суровый характер Натальи известен был каждому.

Жилистая, роста выше среднего, с широкой костью, имела она внешность яркую и необыкновенную. Цельный характер её обнаруживался при любом подходящем случае: правду всегда говорила в глаза, невзирая на чины и звания; в крепких крестьянских руках держала не только подворье, но и мужа своего.

Муж Наталье достался покладистый, мастеровитый, но без огонька, без искры, присущей малахольным людям. Похоронка на мужа пришла ещё по осени, в тот день, когда солнце, будто золотая печать в холодном ясном небе, подтверждало приход бабьего лета. Погода радовала душу: в палисаднике набирала ядрёности ягода калина, стаи воробышков весело щебетали, вспархивая с яблони на вишню. Вёдра с родниковой водой, стоявшие в сенцах дома, подёрнулись тонкой коростой льда. А печь в избе топилась теперь дважды – утром и вечером.

– Ты бы зашла ко мне повечерять, – звала Наталью подружка Ульяна. – Одна-то с ума сойдёшь! Степана твово, как и моего касатика, война забрала – не вернуть.

– Зайду опосля, как-нибудь, – Наталья отводила налитый горем, будто рюмка – водки до самых краёв, взгляд. – Дюже мне, подруга, некогда.

– Отчего так-то? – пытала Ульяна.

Наталья отмалчивалась…

Однажды решилась Ульяна потешить любопытство – нежданно нагрянула к овдовевшей подруге.

Шагнула через порог и обомлела: в избе – жарко натоплено, а дух стоит такой, что впору вон из избы!

Воздух клубился разными ароматами: пахло ладаном, печёной картошкой, но больше всего – овечьей шерстью. Наталья, раскрасневшаяся, с горящими глазами и пылающими щеками, в цветастом переднике, вычёсывала шерсть.

– Проходи, Уля. Чайник поставлю, – Наталья отложила в сторону деревянный гребень.
Ульяна не нашлась, куда сесть. Всюду, на колченогой лавке, на кровати, на столе, большими и малыми горками лежала шерсть. Белая, словно облачко в летнем небе, и чёрная, будто грозовые тучи над селом…

На столе, ровными стопками – готовые вязанные варежки, носки, клубок со спицами, веретено…

– Батюшки-святы! – Ульяна развела руками. – Куды ж ты столько навязала?

– Знамо куда – на фронт. Зима вон какая лютая навалилась, озябнут наши ребятушки, и мой сынок Лёшенька озябнет, захворает ненароком.

– Вот оно что… Дык, и я посылку на фронт давеча собрала. Сало, чай да махру положила. Только вязать не люблю – это ты у нас мастерица!

Ульяна выбрала из общей кучи белые варежки, собралась примерить.

Внутри рукавицы что-то хрустнуло...

– Поклади на место, – приказала Наталья.

– Чегой-то там?

Ульяна, недоумённо поглядела на хозяйку, достала из варежки мятый листок.

– Письмо сыну... Да ты садись, Ульяна, чайник-то вскипел.

Ульяна вернула бумагу на место, придвинула к столу табурет.

– Тебе чай молоком побелить? – Наталья слегка приподняла широкую чёрную бровь.

– Можно и белить, а можно не белить.

Ульяна была полной противоположностью подруги. Покладистая, отходчивая, она легко могла рассмеяться и также легко могла расплакаться. Все движения души происходили в ней так быстро, так легко сменяли друг друга, словно бы погода – в капризном месяце апреле.

И сама Ульяна, в противовес смуглой и чернявой подруге – светловолоса, подвижна, небольшого роста, с приятной глазу полнотой.

– Тута варежек навязано – на всю армию хватит! – Ульяна на мгновение опустила в кипяток головку желтоватого сахара, поднесла ко рту, прищурив светло-карий глаз, с хрустом надкусила лакомство.

Наталья отставила кружку в сторону:

– Слыхала, чай? Фрица от Ржева поганой метлой погнали.

– Слыхала, как же не слыхала!

– Вот я и кумекаю, Уля… А может Лёшка мой скоро домой возвернётся?

– Оглянуться не успеешь, как возвернётся! Драпают немцы… чтоб ни дна им, ни покрышки!

Вдруг в печи, точно выстрел, громко треснуло полено. Наталья вздрогнула, взяла в руки кочергу и, отворив заслонку, пошебуршила в огненном чреве железным прутом.

– Мороз-то как ныне лютует! – вновь заговорила Ульяна.

Наталья не ответила, заворожённо глядя на разгоревшееся пламя.

В печной трубе неистово загудело, затрещало… Пламя, точно живое, разбушевалось, разыгралось, готовое вот-вот вырваться наружу. Хозяйка, опалённая жаром, в испуге отпрянула, поспешно прикрыв дверцу.

– Пойду до хаты, пока совсем не стемнело, – Ульяна поднялась. – Люди бают, волки близко к деревне приходют. У Тимофеевых курей давеча задрали.

– Ступай, Уля, да с оглядкой, – Наталья проводила подругу и накинула дверной крючок…

С того страшного дня, как принесли похоронку на сына, печь Наталья не топила, потому стужа чувствовала себя в доме полноправной хозяйкой.

Наталья вновь и вновь возвращалась к началу работы. Холодные спицы обжигали, петли соскальзывали, а закоченевшие пальцы совсем не хотели слушаться.

Иней толстым слоем укрыл окна изнутри, и что творилось там, за окном, не известно.
Слабый мышиный писк и возня в подполе не тревожили Наталью, как не тревожило чувство голода и пустой чугунок на печи. Сложив в скорбную гримасу посиневшие губы, она что-то усердно выводила на клочке бумаги, еле слышно шепча:

– Такого быть не могёт… Ошибка это… Ошибка!

Наслюнявив химический карандаш, писала снова и снова, складывая записки в каждую шерстяную варежку, пока не закончилась в доме бумага…

За последние дни Наталья сильно изменилась: под глазами – тёмные круги, возле губ - две глубокие скобы-морщины.

Сделав последнюю петлю, Наталья щёлкнула ножницами, отрезав от готовой варежки шерстяную

нить, крючком протянула кончик вовнутрь, чтоб соблюсти аккуратность.

Закончив работу, тяжело поднялась, протопала валенками в чулан и вскоре вернулась с громоздким ящиком.

Одна пара, вторая, третья… Пара белая, пара чёрная… И снова белая… Стопка носков – стопка варежек…

В сенцах неожиданно хлопнула дверь.

Ульяна, едва отряхнув валенки от снега, шагнула в избу:

– Наталья!

Хозяйка, словно не слыша, не оглянулась на вошедшую, положила в посылку последнюю пару варежек, прикрыла сверху газетным листом, сказала чуть слышно:

– Вот, Уля, сыночкам моим гостинец собрала.

Ульяна, глядя на образа, перекрестилась – сын у Натальи был один-единственный… Ульяна нерешительно шагнула к столу:

– Вот и слава богу, милая, вот и слава богу… Пойдём, Наташенька, со мною.

Ульяна заботливо накинула на плечи подруги полушубок:

– А посылку твою мы завтра же отправим. Вместе на почтамт поедем, Красулю запряжём и поедем.

Она мягко подтолкнула Наталью к выходу и крепко прикрыла за собой скрипучую дверь…

Согревшись на тёплой печи, Наталья тут же провалилась в сон.

Ульяне не спалось… Засветив лампу, она долго сидела у стола, подперев голову руками и предаваясь горьким думам, прислушиваясь к ночным шорохам и к завыванию то ли ветра, то ли хищного зверя за окном.

Слёзы не один раз за вечер сбегали по её округлым щекам, быстро высыхали, и снова торили себе дорожку…

Будто что-то внезапно вспомнив, Ульяна открыла посылку, и, сунув ладонь в варежку, достала записку. На клочке бумаги, твёрдой Натальиной рукой, было выведено несколько строк. Ульяна, шевеля губами, прочла по складам:

«Сынок! Молюсь о твоём возвращении. Час победы близко. Возвращайся живым. Твоя мама».

Ульяна убедилась в своих догадках и предположениях: в каждой связанной паре, хранящей тепло женских рук, лежала точно такая же записка. И текст каждой из них оказался написанным словно бы под копирку. И адресат каждой записки оказался тем же – «На фронт. Сыну»…

Ульяна покачала головой, аккуратно сложила вещи, выключила лампу и, забравшись на лежанку, прижалась к подруге, крепко её обняв...

Утром слегка попустило.

Мороз неожиданно сдал свои позиции, и иней, отяжелев от утреннего тумана, большими белыми хлопьями полетел на землю.

Первые струйки печного дыма взвились к небу, потекли, побежали, точно струи парного молока – в подойник. И в первых проблесках зари, и в первых петушиных криках, и в протяжном мычании коровы в хлеву – всюду явственно чувствовалась близкая долгожданная оттепель.

Первая оттепель зимы сорок третьего года.

…

Факты скупой военной хроники:

«Женщины Клявлинского района Куйбышевской области отправили на фронт:

Тёплые варежки – более 2000 пар;

Тёплые носки – более 1000 пар;

Валенки– 300 пар».

Сколько было отправлено кисетов с махоркой, папирос, посылок с крупой и сухарями – никто не считал.

Второе место (серебро) и звание лауреата **Коротеева Ирина Олеговна –** родилась в городе Ростове-на-Дону. Окончила Донской Государственный Технический университет. Член Союза писателей России. Живёт в городе Ростов-на-Дону.

Про любовь

Казачки по природе своей бабы сильные, но тут кто выдюжит-то? Всю войну без мужиков пробатрачили, только и держались на том, что верили: вот вернутся родненькие и пойдёт всё по-прежнему. Бывало, летним вечером, наломавшись за день, собирались солдатки вместе, и, вдыхая запах лугов, бушующих за околицей, потихоньку гутарили о «своих», о том, как жили они до войны, как будут после неё, проклятой.

Пришла Победа, и на Дон стали возвращаться победители. Из хутора на войну уходили пятьдесят мужиков, а вернулись двое безногих, да четверо здоровых. Еще остались на хуторе несколько ветхих дедов, да бегали по базам голенастые кужонки – вот было и все бабье богатство.

Аким Макарович Шестаков пришел одним из первых. За три года он почти не изменился, только от носа ко рту пролегли две глубокие, словно прорезающие кожу, складки, да в кудрявом смоляном чубе засветились белые нити. По-прежнему отмеривал он слова и не суетился попусту.

До войны он холостяковал, жениться не спешил – все было недосуг, потому как оставался единственной опорой матери, рано схоронившей мужа, Акимового отца. Местные девахи сохли по Акише, но он, как будто, и не замечал девичьих поглядок. Для походов за цветами девушки выбирали все больше дальние лужки, лишь бы пройти мимо заветного куреня, стоящего на окраине хутора. Возле плетня они старались смеяться звонче, но оставалось разве что искоса поглядывать на высокую статную фигуру Акима, управлявшегося по хозяйству.

Солдата на хуторе никто не ждал: семьи не нажил, а мать померла в сорок четвертом, после долгой хворьбы. Другой родни у Шестакова не было. Аким ничего не знал о смерти матери, и теперь,

уверенно прошагавший трудные километры по чужим городам и странам, он еле добрел до родного погоста. Тяжело опустился на черную землю рядом с осыпавшимся холмиком и молча просидел несколько часов.

Аким Макарович вернулся с войны не один. С ним пришла тоненькая рыжеволосая девушка, Нина. Левая рука у Нины была отрезана ниже локтя. К тому же оказалась она молчуньей, под стать Акиму.

Хуторские бабы, статные, налитые, никак не могли взять в толк, как эта конопушная пигалица смогла увести у них самого видного хуторского жениха, и только Нинино увечье немного смягчало бабьи сердца. Они не знали – женился Аким по любви или из жалости. Бабам, конечно, хотелось думать, что из жалости.

Шестаковская хата сильно пострадала при наступлении советских войск. Но Аким уверенно взялся за дело и вскоре обновленный курень горделиво красовался белеными боками под камышовой крышей.

Нина вполне справлялась с хозяйством и одной рукой, при необходимости помогая себе культей левой руки. Приноровившись, рыжуха, как ее окрестили местные, ловко придерживала тяпку или перехватывала белье, когда отжимала. Глядеть на это было тягостно, но Акима изъян жены, похоже, не смущал.

– Приворожила! – перешёптывались бабы на вечерках, поплёвывая семечки. – Как есть приворожила! Рыжие, они такие. Если уж чего удумают, завсегда получают.

У Шестаковых по очереди народились две дочки-погодки. Аким не бартыжал и постепенно в хозяйстве завелись важные шептуны, юркие пеструшки. В сарае мычала коровенка, в загоне хрюкала упитанная хавронья.

Все бы ничего, вот только Аким прибаливал. И в плечах был он широк и руки имел жилистые, сильные, но этот недуг иногда делал его беспомощнее грудного ребенка. Хуторские поначалу пугались, когда, вытянувшись струной, Аким внезапно падал во весь рост и хрипел перекошенным ртом:

– Нинушу позовите, Нинушу…

Если ее не было рядом, мальчишки бежали к Шестаковскому куреню и кричали на весь хутор:

– Тетя Нина! На дядю Акима опять лихоманка напала!

Она тут же подхватывалась и бежала, спотыкаясь, какая была: босая, простоволосая. И только на ее руках муж постепенно успокаивался, светлел лицом.

На расспросы баб Нина отвечала немногословно:

– После контузии у него эта болячка.

Так и жили. Рóстили детей, работали в колхозе, управлялись с хозяйством.

Летом 1955 года душное марево на несколько недель плотным колпаком накрыло район. На полях чернел подсолнух, на хуторских огородах сохли овощи. Вот тогда и случилась беда.

Загорелась колхозная конюшня. Раскаленная за день камышовая крыша полыхнула в миг. В разгар

рабочего дня пожар заметили поздно, когда огонь уже начал пожирать саманные стены. Беспомощные испуганные люди не знали, как подступиться, а в стойле билась и кричала жеребая кобыла, не выгнанная на выпас со всем стадом.

Шестаковы прибежали последними. Аким, недолго думая, схватил валявшуюся под ногами попону, и, набросив ее на голову, кинулся к горящим дверям и исчез в пожарище. Бабы голосили, мужики матерились, не решаясь подойти.

Стоя в опасной близости к огню, Нина всматривалась внутрь сквозь дымную завесу. Время шло, Аким всё не появлялся, только из адского горнила рвался отчаянный и горький лошадиный плач. Никто из толпы не успел заметить, когда Нина шагнула в огонь. Она просто пропала.

Когда саманная конюшня уже стала оседать, из огня прямо на людей вылетела обезумевшая кобыла. Через секунду в пылающих дверях появилась и Нина, тащившая волоком закопченного мужа. Подбежавшие мужики подхватили рухнувшую без сил женщину за мгновение до того, как с грохотом провалилась горящая крыша.

Муж и жена представляли собой страшное зрелище: в дымящейся одежде, с обуглившимися волосами. Оба были без сознания. Нина странным образом пострадала сильнее мужа – красная обгорелая кожа уже вздыбилась пузырями, из раны на голове на лицо текла кровь. Ошеломленные хуторские растерянно стояли, не зная, чем помочь. Внезапно Аким зашевелился и открыл глаза.

– Нина… – он закашлялся и попытался сесть. Мужики помогли ему приподняться. Аким, увидев умирающую жену, взвыл. С невесть откуда взявшимися силами он кинулся к ней, обнял и стал качать, как маленького ребенка. Сквозь прерывистый кашель слышались отдельные слова:

– Как вошел – помню… дышать нечем… опять лихоманка прихватила… упал… Нина… Нинуша… Она меня из под пуль… руку потеряла… и сейчас… как же… Нинуша… Нинуша…

Женщина постепенно затихла в его руках и перестала дышать, но Аким не замечал этого, все качался и приговаривал:

– Нинуша… Нинуша…

Черное небо, с утра тяжелым брюхом висящее над Доном, разрубило острой молнией надвое. Крупные капли падали с разверзнувшихся небес на дымящееся кострище, на склонённые головы односельчан, на плачущего мужчину с бездыханной женщиной на руках.

Аким похоронил Нину рядом с матерью. Запить – не запил. Только, когда тоска брала за горло, не давала дышать, шел с бутылью самогона на кладбище, садился у могилы жены, пил горькую и шептал:

– Вот детей на ноги поставлю, и к тебе, Нинуша…

Иной раз досиживал до сумерек, разговаривая с Ниной о чем-то, только им одним ведомом.

Больше Аким не женился. Он умер на Нининой могиле после того, как вторая дочь вышла замуж. Отмучился…

Второе место (серебро) и звание лауреата **Леонов Роман Васильевич (Чепкасов Артем Леонович) –** родился в 1980 году в городе Новокузнецке Кемеровской области. Старший оперуполномоченный уголовного розыска. Последние несколько лет живёт в городе Новосибирск.

Одна ночь, одно утро

Светлой памяти прадеда –
красноармейца Артемова Петра
Максимовича и его однополчан,

павших за освобождение
Прибалтики, посвящаю…

Не спалось. Веки смыкались, и уставшая голова клонилась к тощей груди, но перед солдатом тотчас возникали жуткие картины – или тифозный барак, или как троих несчастных, дерзнувших сбежать, но пойманных, умертвили через повешение на огромных крюках за дряблые подбородки. И как только он сам сумел пережить ту зиму? Уму непостижимо. За ночь не меньше двух сотен испускали дух. Не иначе, сыпной тиф и спас его, а то со всеми бы и замерз ночью под открытым небом или с голоду опух – с одной кружки баланды за сутки дело не хитрое. От болезни тоже мог душу Богу отдать, да и отдал уж, считай, но она Всевышнему оказалась не нужна. Надо же, до плена, ни в какого Бога не верил, а теперича всюду поминает его.

Весной легче стало, – распределили на работы на железную дорогу недалеко от города. От зари до заката разгружали вагоны и укладывали новые шпалы взамен тех, то через ночь взрывали неведомые партизаны. Уйти бы с ними, да за все время Петр так ни одного и не встретил, а самому куда бежать? Не зная местности и людей, любой из которых полицаям сдать может. К тому же конвой немецкий всякий раз был лютее прежнего. Глаз с пленных не сводили, избивали нещадно за любую провинность – если и сдохнет раб, не беда. Утром на работы, вечером в лагерь. Несколько рядов колючей проволоки, истошный лай собак, короткие постоянные автоматные очереди с вышек по провинившимся. А виноваты они все там были. В том, что русскими родились, что воевать с господином немецким удумали, а не сдались сразу на милость его. И всегда только изматывающий душу ледяной дождь, да повсюду ослепляющий свет прожекторов. Даже теперь, в окопе, в кромешной темноте, казалось, что вездесущие лучи слепят через закрытые глаза. И, вроде, моросит опять проклятый сверху, хоть лето сухое выдалось.

Правда, паек им в ту пору увеличили, чтоб работали лучше. Аж на пятьдесят грамм. А к следующей зиме и бараки деревянные сколотить себе позволили. Со щелями толщиной в палец. Сволочи.

Уснуть так и не получилось, как он ни старался. – Подремай, – поднявшись на ноги, солдат тронул за худенькое плечо молоденького бойца, призванного весной только, из Новосибирска что ли. – Я постою.

– Не спится, дядь Петь? – переспросил солдатик. – Плен опять снится?

– Да уж, пристал зараза, никак не отвяжется. На всю жизнь он со мной теперича, видать, – ответил Петр. – А ты дрыхни, силы набирайся. С утреца дальше, поди, двинем, в Восточную эту Пруссию, будь она неладна…

– Не, дядь Петь, передохнем чутка, а то сколь уж в наступлении, Неман вон сфорсировали, – заспорил солдатик. – И опять сказать, зачем окапывались вчерась весь вечер и полночи? Я так кумекаю, постоим покудова, лишь бы немец только на нас в атаку не сунулся. Нечем у него уж, а, дядь Петь, как мыслишь? Сколь мы его, гада, побили, откуда ж ему еще взяться?

– Не скажи, – не согласился Петр. – Драться фрицы здесь сильно будут. Дом это ихний, звериный, да не мы к ним первыми с оружием пришли…

– Шайтаны, как наш товарищ комвзвода на них серчает, – перебил солдатик, зевнув. – А интересный у них язык, у татар, а, дядь Петь. И командир у нас хороший. Из Казани…

– Спи, не болтай, – заботливо повторил Петр, накрыв солдатика шинелью, и совсем тихо прошептал сам себе. – Кто их знает, командиров, чево у них на уме, а наше дело солдатское, биться, не отступать.

Так и в сорок первом было.

Призвали уже в июле. Как и всех мужиков из деревни, что были годны по возрасту. Бабы, провожая мужей, ревели в голос. Стон до небес стоял, и хотелось одного, дабы поскорее их увезли. А оставлять и не собирались, и два месяца Петр недалеко от дома, в саратовском запасном полку, старательно вспоминал солдатскую науку, давно позабытую им. Дважды приезжала жена, подкармливала. И вглядываясь теперь в темноту литовской ночи, Петр, как сейчас, видел тот погожий сентябрьский денек, когда он последний раз видел любимую. Тепло еще было. Нюра – коренастая, курносая, с бледным лицом и черными большими глазами. В эти глаза он когда-то и влюбился без памяти.

Через день он с маршевой ротой топал к фронту. И сразу в пламя. Фриц к Москве рвался, вот наперерез ему и отправили волжан. И не их одних. Под Вязьмой много люду собралось оборону против немца держать. Со всей страны. Да не сладили с поганцем, хитрее и сильнее он тогда оказался.

А в октябре проливные дожди зарядили, и конца да края им не было. Тогда же остатки их полка вместе со всей армией в мешок и угодили. Окружение. Неделю крепко стояли, но подошли к концу припасы, убитых и тяжелораненых становилось все больше, и паника взяла вверх, что уже нельзя было разобрать, где кто. Несколько командиров застрелились, и каждый день до десятка бойцов не досчитывались – уходили по ночам. Кто дезертировал, кто сам к немцам сдаваться шел. Жалкие остатки полка не оставляли попыток вырваться из западни, да бестолку. И в одной из ночных атак оглоушило Петра взрывом так, что низкое небо с овчинку показалось. Винтовку выронил и упал лицом в вонючую лужу. Никто из бежавших рядом не заметил, что он жив. Много их тогда валилось замертво наземь, будто о пенек споткнувшись. И не все вставали. А каждого не углядишь. Вот и на него даже не посмотрели, решив, что точно убит.

Когда очухался, светало. Кинулся искать потерянные оружие и пилотку, но понял, что надо схорониться немедля – немцы уже прочесывали редкий лес, и совсем близко, со всех сторон, слышались нечастые выстрелы и их, похожие на собачий лай, голоса. Спрятался в овраге, забросался, сколько мог, пожухлой листвой. И вдруг совсем страшно стало. Не за жизнь свою, нет, а за то, что не увидит родной деревни больше, жены любимой, детишек озорных, матери – старухи. Как же можно? Как они без него? Нет, выжить должен и вернуться домой.

Нашли его быстро. Больно пнули в бок и наставили сразу несколько стволов:

– Штен ауф! Хенде хох!

Грубо, за поднятый ворот шинели, поставили на колени. Страшнее всего была собака, рьяно рвавшаяся с поводка у одного из фашистов. Все было, как во сне, и до последней секунды самому не верилось, что это происходит на самом деле. И где-то в глубине души возникла вдруг паскудная мысль, что в своих листовках немцы тем, кто сдастся, обещали хорошее обхождение, а как только они возьмут Москву, так и совсем всех пленных домой отпустят. Да и что такого страшного в сдаче, если сын самого Сталина сдался – Петр видел такую листовку. В один миг пронеслись эти мысли в обескураженной голове, и Петр сам не понял, как поднял руки. Сдался. И в те невыносимые секунды его позора, который уже никогда нельзя будет смыть, в нем образовалась звенящая пустота. Он был жив, но его больше не было. Петр чувствовал всю гадость своего поступка, но боялся признаться себе в том и все еще лелеял надежду, что и его тоже скоро отпустят. К жене, к деткам. Пусть только немцы поскорее возьмут Москву, и сразу же все. Он сам ни в чем не виноват, он честно сражался, но его предали. Кто? Не важно, а то стоял бы он на коленях в осеннем лесу. Грязный, продрогший и голодный. Жалкий, униженный и оскорбленный. Но его война кончилась, и, Слава Богу. Да, именно в те страшные секунды он впервые за сорок лет подумал о Боге. А потом

был удар в голову, и он потерял сознание.

Очнулся уже в Вязьме в пересыльном лагере. Там в полуразрушенном всегда темном и сыром санитарном бараке лежал несколько недель. Его не лечили, просто ждали, сдохнет иль нет. Выжил и с другими пленными его погрузили в эшелон. Думали, везут в Германию, но высадили в Минске и пешком, под внезапно сыпанувшим первым снегом, погнали к лагерю. Босыми, в одних гимнастерках и без головных уборов. Перед Новым Годом он слег в бреду и умирая, все жалел, что ни разу не успел жене написать.

Но вот уже два месяца, как наступавшие в Белоруссии товарищи освободили Минск и его из плена. Можно бы и черкануть домой хоть пару строк. Да что сказать родным? Смалодушничал, оказался трусом? Да, подлецом не стал и над своими, как некоторые в угоду немецким господам, не издевался. Но все одно, оправданием это служить не может, и писать ему пока не о чем, и пусть домашние продолжают думать, что он погиб. Вот кончится война, придет он домой и все расскажет, как на духу. А рассказать обязательно нужно будет, ведь даже на фильтрации о том, что сдался сам, ни слова не сказал, солгал, что ранен был. Поверили. А коли медаль дадут, к которой ротный его за позавчерашний бой в Ежеруках представил, то не так тяжело каяться будет перед людьми.

Небо за спиной засветлело, но впереди еще было темно, и оттуда, с Запада стал нарастать надсадный гул. Петр хорошо его помнил. Со страшной непонятной осени сорок первого года. Бомбардировщики. И уже через минуту по ушам ударило, лицо обдало нестерпимым жаром, сверху сыпануло комьями сырой земли. Час творилось светопреставление. Но солдату больше не было страшно. Он, сжавшись в комок на дне глубокого окопа и накрыв голову руками, спокойно ждал своего часа. Он видел испуганные широко раскрытые глаза проснувшегося солдатика, и шептал ему: «Не бойся. Ты только не бойся, сынок. Скоро кончится». Мальчишка с испачканным землей лицом не слышал, из маленьких его ушей тонкими струйками сочилась алая кровь. Когда бомбардировка закончилась, Петр увидел рядом с собой нескольких убитых. Но рота уже заняла позиции и приготовилась отбивать атаку. Был жив и солдатик. Степенно, будто на занятиях на полигоне, он уткнул в бруствер сошки ручного пулемета и, сверкая одними глазами, улыбнулся.

– Ничего, сынок, ничего. Ща мы их, – заверил Петр и осторожно выглянул из окопа.

На них ползли танки, за которыми, пригибаясь к земле, перебежками, падая и снова вскакивая, шла мотопехота. Под Вязьмой они не так в атаку ходили. Там они были уверенные в себе, бесстрашные, а теперь боятся. Змеиное племя. Так им и надо, и Петр, уперев приклад мосинки в плечо, прицелился. Его час пришел. Выстрел, и один фашист, будто нехотя, завалился на спину. Петр вновь прицелился, плавно нажал на спусковой крючок, и еще один фриц упал, пропахав мордой землю, которой так страстно желал владеть.

А вокруг громыхало и трещало, ухало и выло, и за дымом, клубами поднимавшимся от горевших немецких машин, не было видно солнца. Смешались минуты и часы, и нельзя было разобрать, утро ли, день, а то и вечер уже. Отбили первую атаку, и от роты осталось не больше половины. Отразили вторую, и от роты осталась лишь треть. Фашисты пошли в третью атаку, потом в четвертую, и Петр все стрелял и стрелял в них. Кончались патроны, и он брал их у убитых. Рядом с ним продолжал стрекотать из дегтяря молоденький солдатик. Они держали оборону и знали, что не отступят, не сдадутся.

– А, шайтан, – совсем не злобливо выругался появившийся непонятно откуда командир взвода с закопченным лицом и перебинтованной рукой. – Ну, что, братцы, в колечке мы опять. Сосед попятился от Сынтовтов, так эти гады в стык нам и долбанули, как раз, во фланг, и теперь наш полк отрезан от дивизии. Связи со штабом нет, от роты только мы с вами остались, в других ротах также. Что делать будем?

Ответить солдаты не успели. Взрыв и взводник, прикрывая рукой окровавленный живот, что-то прошептал на родном татарском языке и сначала медленно опустился на колени, а потом упал лицом вниз. Но Петр точно знал, что будет делать. Драться и только. Мстить за свой позор, за замученных в плену, за истерзанную и поруганную родную землю. Иного выбора у солдата не было.

Опять кончились патроны, и солдат склонился над убитым командиром взвода, что бы взять его автомат.

– Штен ауф! Хенде хох! – нежданно послышалось сверху и обожгло плечо.

Несколько немцев внезапно возникли на бруствере, сразу застрелили молоденького бойца, и наставили на Петра стволы автоматов:

Все было, как и тогда, той дождливой осенью, – солдат поднял руки. И все совсем иначе. В кулаке уже была зажата граната без чеки. И разжимая онемевшие пальцы, Петр успел пожалеть лишь об одном – так ни одного письма за всю войну домой и не написал...

Третье место и звание лауреата **Халдина Елена Вадимовна** – состоит в Уральском творческом объединение «Талисман» (Челябинск), в литературном объединение детских авторов «Тропинка» (Челябинск) и в ЛитО «Райские яблоки» (Касли). Проживает в г. Касли Челябинской области.

Вот ведь судьба-то какая

Посвящается моей прабабушке Ступиной Александре Ивановне

Сквозь сон Шурка услышала милые для её сердца слова: «Шанежка! Родная моя-а…». Истома сладко окутала её тело, истосковавшееся по мужниной ласке. Повернувшись на правый бок, левой рукой она машинально прижалась к подушке, на которой раньше спал муж, уткнувшись в неё в полусне, она вдыхала едва уловимый запах мужа…

После будто бы кто-то в окно постучал и тихонько позвал: «Ша-а-нежка-а, я вернулся!». Шурка как полоумная вскочила спросонья с постели, подбежала к окну, спешно раздвинула строчёные занавески. Вглядываясь в кромешную мглу за окном, испуганно спросила: «Кто тут? Андрюша, ты ли чё ли? Тéметь такáни чё не видать»

В ответ ей только ветер за окном проскрипел ставнями, но Шурка в предвкушении долгожданной встречи с мужем громко произнесла: «Сейчас, сейчас, Андрюша, погодь малёхо, только лампу зажгу, а после открою!»

Заполошно она подошла к русской печи, ища на ощупь в темноте спички. Найти сразу не удалось.

– И куда подевались, окаянные? Всегда ж в одно место кладу… – негодовала она громко, забыв спросонья, что её дочки спят.

– Мам, ты чё кричишь-то посередь ночи? Спать мешашь… – посетовав, старшая дочь перевернулась с одного бока на другой.

– Так отец с войны вернулся, Галинка!

– Вот те раз, когда успел? – спросила дочь недоумевая.

– В окошко постучал только что, а я с радости растерялась, лампу хочу зажечь, да спички найти не могу, всё внутри трясётся, ровно душа того и гляди из груди выпорхнет, как птица.

Ставни от порыва ветра с силой хлопнули по стене избы. Шурка, оправдывая свою нерасторопность, сказала:

– Сейчас, сейчас, Андрюша, иду родимый, только пимы обую.

Дочка испуганно произнесла:

– Ну, батюшки мои, страсть такáя… Ты куда, это ж ветер!

– Как ветер?! Папка вернулся, говорю же тебе! – рассерженно ответила ей мать.

Нащупав в темноте спички, она подошла к столу и зажгла керосиновую лампу. От света и шума на печи проснулись младшие дочки Ира и Нина.

– Ма-ам, ты чё не спишь? Случилось чё?

– Папка вернулся, вставайте. Сейчас ворота открою, замёрз наверно совсем, папка-то наш!

– Как вернулся? Он же на войне погиб… – робко переспросила Галинка.

– Да живой он, живой! Говорю же тебе, вернулся!

Младшие дочки, поверив матери, закричали в голос от счастья: «Папка, папка вернулся, ура-а!»

Наспех Шурка сунула ноги в пимы, накинула на голову пуховую шаль. Вышла во двор. Подошла к воротам, отворила их, вглядываясь в темноту прокричала: «Андрюша-а!». В ответ только ветер хлопнул ставней по стене избы, проявляя своё недовольство: «Кричит, а зачем кричит? Кто поймёт бабу эту…»

Но Шурка не сдавалась, надежда её хоть и таяла с каждой секундой, но всё же теплилась. Она машинально продолжала кричать: «Андрюша-а, родной мой, ты где-кась?»

Ответа не последовало. Посветив лампой около ворот, она не увидела ничьих следов, подошла к палисаднику: сугробы перед окнами избы тоже были не тронуты ногой человека. «Как же так, был же, а как будто и не было… Андрюша, Андрюша-а, любимый мой, я тут…»

Шурка ревела навзрыд. Ветер, сжалившись, целовал её озябшие щёки, как будто извиняясь за то, что потревожил ненароком её сон.

Вернувшись в избу, она продолжала реветь. Дочки, увидев её одну, спросили: «Мам, а где папка?»

Она ответила: «Не знаю, спать ложитесь» Но Ире с Ниной уже было не до сна, они теребили мать за подол рубахи, не унимаясь: «Папка, па-а-пка, наш папка где?»

Галька прикрикнула на сестёр: «Тише, – не в себе она!». Сёстры поспешно залезли на печь. Кого-кого, а старшую сестру они уважали и побаивались.

Подойдя к матери, Галька обняла её озябшие плечи. Прижав к себе, испугалась, ощутив её большой живот, но, не осмеливаясь спросить о беременности, только и сказала:

– Испужала ты меня шибко, тепе́ря спать до утра не буду, а там уж как придётся.

– Отец же твой приходил, я же слышала, он кричал меня…

– Мало ли кто кричал? Ложись спать…

– Шанежкой-то меня только Андрюша кликал – отец твой, а боле никто.

– Поблазнило тебе видать… – ответила дочь, а потом, набравшись смелости, испытывая неловкость, задала вопрос. – Мам, ты чё, брюхатая?

– Да ты чё тако́ матери говоришь-то? Болезнью я брюхатая… А Андрюше своему верна была и буду. Никто мне окромя́ его не нужен. Извелась я вся, без него. Не живу, а жизнь доживаю. Неужто ты не видишь?

– Вижу…

– Знал бы Андрюша, какие слова я от тебя услышу… Да и хорошо, что не знает. Не вынес бы он такого срама со своим-то сердцем… Грех, тако́ про мать-то свою говорить…

– Так в деревне невесть что несут бабы… И ты брюхо прячешь, – оправдываясь сказала дочь.

– Так я брюхо-то прячу, чтобы вас грешным делом не испужа́ть своей болезнью. А ты вот ведь чё про мамку-то подумала. Лихо с тобой…

Галька упала в ноги матери и заголосила:

– Прости меня, прости… Не со зла я такó сказала, а со стыда – думала, что ты и впрямь тяжёлая…

– Ладно, не плач, кóли так, прости и ты меня. Открыться мне тебе давно надо было, а я не решалась. Вот ведь как вышло-то… Ложись спать, дочка, уж вставать скоро… Да и я пожалуй лягу, – прошептала мать укладываясь на кровать. Провалившись в перину, как в объятия мужа, она мысленно обратилась к нему: «Ты только живи, Андрюша, живи, в мыслях моих, в душе моей, в сердце… С тобой-то мне ничего не страшно»

Через две недели Шурки не стало. Перед смертью она наказала старшей дочке: «Умру, так рубаху на меня Андрюшину наденьте, синенькую, он в ней со мной в церкви венчался»

Бабы в деревне удивлялись: «Надо ж, в Казанскую Божью Матерь, венчалась и на неё ж преставилась. Видать забрал её Андрюша к себе. Вот ведь судьба-то какая…

Третье место (бронза) и звание лауреата **Москаленко Юрий Николаевич –** родился в 1961 году в Армавире Краснодарского края. Писатель, поэт и драматург. Число просмотров его произведений только на интернет-журнале «Школа жизни.Ру» насчитывает около 13 млн.

Член МАПП. Живёт в Калининграде.

Бабушка Олёна

Говорят, мужчины не плачут. Но когда я закончил третий класс, и бабушка Олёна объявила мне, что

через неделю мы отправляемся с нею в Белоруссию, – я взвыл не хуже сирены, которую включали каждый вторник. Чтобы люди не забывали о том, каким хрупким бывает мир.

Я не очень помню войну, потому что мама была беременна мною в самой её середине. Я родился в Германии, и тогда, в середине пятидесятых, мало кто знал о моей малой «родине» – Бремене. Это потом, с появлением мультфильма «Бременские музыканты» в самом конце шестидесятых, дети услышали об одноименной сказке братьев Гримм.

– Ты самая отвратительная бабушка на свете, – вопил я маминой маме, заливаясь слезами. Нет, не горючими – это от горя они бывают горькими. А мои были злые, как говорил дедушка, – едучие. Хуже самого пекучего перца. Попади они на цветок – прожгли бы «зеленушку» до самого корешка.

Бабушка Олёна не мешала мне давиться рыданиями. Она была очень высокой, худощавой, мудрой и справедливой. И когда дедушка позволял себе немного лишнего, возвращаясь, всегда стучал мне в окошко: «Моя дома?!»

Кажется, он её чуть-чуть побаивался, особенно в такие минуты. И всегда старался проскочить в дом незамеченным. А ведь он был бедовым, в войну с товарищами пустил под откос три гитлеровских эшелона, за что и был награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

Ну ладно, дедушка! Он был ранен в ногу, всегда волочил её при ходьбе. Бабушка говорит: осколок мины выбил сустав. А какие врачи в лесу?! Не отрезали ногу – и за это спасибо.

А у меня кроме ног были ещё две настоящие вратарские перчатки, подарок от могилёвского дяди, я всегда становился в футбольные ворота и отбивал почти все мячи. Хотя какие там ворота? Две половинки кирпича. Одна – левая штанга, другая – правая. И я между ними в перчатках. Но что там Хомич?! Я знал, что за мной наблюдает Олеся. Маленькая белявочка, стройненькая, худенькая, симпатичная. В мыслях я давно на ней женился. Даже не спрашивая согласия. Я её люблю. И я ей, кажется, нравлюсь…

И сколько теперь из-за бабушки Олёны наша команда напропускает голов?!

В поезд я садился в слезах. Фибровый чемоданчик с вещами, наверное, сочился мальчишеской болью.

Это была моя первая поездка поездом. Всё было так интересно. Но когда бабушка Олёна через полтора часа после начала поездки протянула мне варёное яйцо, у меня хватило гордости отвернуться к стенке. Притворился спящим, хотя всё внутри бурлило. Слёзы исчезли, а гордость осталась – я же, в конце концов, мужик, а не какая-то бабушка…

А утром, проснувшись, я уставился в окошко. Потому, что сосед по нижней полке напротив, выдохнул:

– Белоруссия…

Я смотрел на белоствольные деревья, которые убегали от поезда, словно боясь попасть под чугунные колёса. На чёрные точечки, кувыркающиеся в воздухе после каждого баса паровозного гудка.

«Вороны, – подумал я, – а, может быть и грачи? И поделом вам, не гнездитесь рядом с железной дорогой. Это вам не прогулка…»

Бабушка Олёна тоже проснулась. Но смотрела не на деревья и птиц. А куда-то в небо. В голубое, как олеськины глаза. В бездонные, просторы, без облачка. Тучки упали перед бабушкой на колени, устилая туманом берега каких-то неизвестных мне речушек.

Сейчас я знаю – разница температур. Или низины. А тогда подумал: как любит Белоруссия бабушку – и этот туман, и стебли растений, и даже тонкие веточки берёз – все ей кланяются…

– Наша деревня в Гомельской области называлась Желудёвка, – вздохнула бабушка. – Говорят, что когда путешественники решили здесь обосноваться, они увидели вокруг много дубов, на которых зеленели жёлуди.

– Ты родилась где-то здесь? – удивился я.

– До моей родины мы ещё не доехали, – не стала обманывать бабушка, – наша семья не была самой большой – я одна, девочка, и три брата, все, как на подбор красивые, статные. Но больше всего любила младшенького – Степана, последышка. Его уважали все в окрестных деревнях, справедливый человек, уполномоченный милиционер. Мог и по душам поговорить с односельчанами, и помощь организовать тем, кто нуждается. А ещё я невестке завидовала – она Стёпе четырёх детей родила, и пятым ходила… А у меня только твоя мамка и её брат…

Когда началась война, Степан вместе с братьями ушел в партизаны. Я тоже дома не сидела: частенько наведывалась в отряд – еду готовила, обстирывала ребят. Но твоя мамка уже тебя под сердцем носила, беспокоилась я о ней…

Фрицы всё старались наш отряд из леса выкурить. Но однажды пригнали уйму мотоциклистов, машины с солдатами. Стрельба была такая, что с вечера сполохи огня были видны. Ох, и напереживались мы. Бога молили…

А поутру прибежал запыхавшийся связной:

– Степановна, бери детей и срочно в лес. Каратели разгромили отряд, Степана взяли раненым, твоих братьев тоже. Их семьи мы уже предупредили, беги, вот-вот сюда по твою душу полицаи прибудут.

Мы рванули в лес – благо я его знала, как свои пять пальцев.

А потом нам рассказали, что случилось после нашего побега.

Семьи двух братьев успели спрятаться, а вот жена Степана с детьми опоздали. Их схватили полицаи. Да и куда бежать? Старшему – семь, младшему полгода.

Каратели были ни белорусы, ни русские и не фашисты. Говорили на почти знакомом языке.

Вокруг деревенского колодца поставили три виселицы. Надели петли на шеи всем трём братьям. Но не спешили выбивать из-под ног пни, на которых они стояли.

Сначала хладнокровно, штыками закололи всех пятерых ребятишек, неторопливо сбросили их в колодец. Потом казнили мужчин. Когда подступились к жене Степана – она уже сошла с ума. Ничего не видела и не соображала. И её не пожалели – закололи и отправили в колодец.

– Каждый любит свою родину по-своему, – смахнула слезинку бабушка. – Для меня она кажется колодцем, в котором нашли свой приют братик, невестка и ребятишки…

– Бабуля, а дальше, что было? – спросил я, цепенея от страха.

– Прожили мы на родной земле недолго, – мамину маму уже начало потихоньку «отпускать». – Схватили нас фашисты, погрузили в «телятники», в которых скот возили, и отправили в Бремен. Где ты и родился 5 июля 1944 года…

Как мы побывали у колодца, я запомнил на всю жизнь. Для меня Белоруссия – это не «белый аист летит», а темнота глубокого омута.

Мама всегда вспоминала, что ей просто повезло. Она попала к бауэру, потом выяснилось, что молодая женщина умеет очень вкусно готовить, так что обязанность кормить большую семью помещика легла именно на её плечи. Наверное, на сельскохозяйственных работах ей, кормящей матери, пришлось бы гораздо труднее.

Нас освободили американцы. Мама всегда со слезами вспоминала, как их, молодых и пожилых, уговаривали американцы: «У вас на родине все разрушено, вас ждут голод и унижения, а вот США война не затронула. Поедем с нами: какая вам разница, где работать? Но у нас вы будете накормлены».

Наверное, кто-то соглашался, но считанные единицы. «Мы очень хотели вернуться», – всегда повторяла мама.

Её брат, мой дядя Ваня, который пацаном помогал партизанам, отправился на учёбу. А мы с бабушкой и мамой в 1946 году собрались в Калининградскую область.

– Приехали мы на маленькую станцию Кляйн Гни, в 45 км от нынешнего Правдинска, – рассказывала бабушка. – Выгрузились. «Как станция называется?» – спросил кто-то.

Посудили-порядили и пришли решению: давайте назовем эту деревушку Мозырем. Мы из Мозыря уехали и в Мозырь приехали…

У моей мамы было 8 детей, у её брата – шестеро. У меня чуть меньше – пятеро. Но все 14 внуков бабушки Олёны побывали у колодца. У этой неприметной белорусской святыни…

Будете у нас, в Калининградской области, приезжайте в Мозырь. Помянем бабушку…

Звания дипломанта **Гошев Сергей Аркадьевич** – родился в городе Котлас и в детстве мечтал ходить под парусом. В итоге, связал жизнь с армией. Закончил два военных училища. Уйдя в отставку, работал учителем в школе. Занимается патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодёжи, выступает в школах и библиотеках от Советска до Камчатки. Известен как детский писатель. Член Союза писателей России. Проживает в городе Советске Калининградской

области.

Сиреневый май

Прошло много лет, даже десятилетий, но детские воспоминания о слепом учителе пения всё чаще тревожат мою душу. Учился я тогда в начальной школе…

Первого сентября классная руководительница сообщила нам:

– Ребята, в этом году у вас будет новый учитель пения. Зовут его Павлюков Андрей Алексеевич. Он воевал, танкист, горел в танке. Потерял зрение. Прошу вас, будьте внимательны к нему, ведите себя достойно.

И вот по расписанию урок музыки. Мы расселись в кабинете. У доски стоял стул, на нём лежал баян. Директор школы завела под руку мужчину в чёрных очках с белой тросточкой.

Мы замерли. Глазами пожирали учителя. В наших маленьких головах не укладывалось: как слепой человек будет преподавать музыку, вести классный журнал, ставить оценки. Как он справится с нами, сорванцами? Как узнает, кто поёт Петров или Сидоров? Кто вышел к доске? Тишина стояла такая, что жужжащая муха на стекле, казалось, билась в барабан, а не в окно.

Учитель вызывал учеников к доске, знакомился. Просил спеть или повторить несколько нот. Потом что-то прокалывал на твёрдом листе небольшим шильцем. Он вёл себя так, как будто всё видит, что происходит в классе и кто перед ним стоит.

Мой сосед по парте что-то бубнил себе под нос, но я не слушал его. Всё моё внимание было

приковано к учителю. Дошла очередь и до меня. После прослушивания Андрей Алексеевич сказал, что мне нужно обязательно петь в школьном хоре. За чёрными очками не было видно его глаз, но при малейшем шорохе или шёпоте в классе, казалось, что он смотрит именно на нарушителя дисциплины. Я был напряжён. Моё сердце билось так громко, что, думаю, его слышал даже учитель. Он взял меня за руку и вдруг неожиданно спросил:

– Серёжа, ты сидишь в правом ряду на последней парте?

– Да!

– А рядом с тобой сидит…, – учитель снял очки и посмотрел закрытыми глазами на мою парту.

Весь класс повернулся и уставился на новенького ученика-второгодника. Уши и лицо его побагровели. Он встал и неуверенным голосом ответил:

– Я Петя Петухов.

– Вот и познакомились, говорун! Ты повторно постигаешь науку четвёртого класса?

– Да…

– И начинаешь учебный год с замечаний. Учителя всё видят, всё слышат и любят всех вас. Петя, полюби и ты себя и будешь хорошо учиться. Полюби своих сверстников, друзей, родителей, и ты станешь уважаемым и счастливым человеком.

Эти слова учителя-фронтовика, обращённые к Петьке, врезались мне в память на всю жизнь. А с учеником Петуховым стали происходить удивительные метаморфозы. Он стал не только хорошистом, но и старостой класса. А ещё – и моим другом.

Хотелось побольше узнать об учителе пения. Но его всегда сопровождали учителя: в класс приводили и уводили после урока. Задержать его нашими расспросами не удавалось. Но мне повезло. Школа готовилась к проведению военно-спортивной игры «Зарница». Все суетились: обустраивали стадион, спортивную площадку для соревнований. И наш класс вместо урока пения привлекли к трудотерапии.

– Кто желает сопровождать Андрея Алексеевича? – спросила классная.

Я поднял сразу две руки, не дав другим опомниться. Петька удивлённо посмотрел на меня и тоже поднял руку.

– Хорошо. Вы, – обратилась к нам классный руководитель, – идёте в учительскую за учителем и вместе спускаетесь во двор. А остальные на стадион расставлять флажки.

Мы сели на лавку болельщиков, учитель – в середине. Смотрели на футбольное поле, где старшеклассники тренировались, бросали деревянные гранаты. Петька вертелся, подавал мне какие-то знаки.

– Побегайте, ребята. У вас есть полчаса. Я вас позову, но не уходите далеко, – сказал Андрей Алексеевич.

Он достал часы, потёр и щёлкнул ими.

– Петька, хочешь, беги. Я тут побуду, – зашептал я. Друг развёл руками и умчался к одноклассникам. – Андрей Алексеевич, давно хочу вас спросить, но…

– Не стесняйся, спрашивай! – учитель взъерошил мои непокорные вихры. Его обожжённое, покрытое рубцами лицо засияло открытой мальчишеской улыбкой. Чёрные стёкла очков показались мне добрыми карими глазами. Я почувствовал, как невидимая нить объединила нас, двух мужчин. Один из которых – учитель, ветеран, не раз смотревший в лицо смерти. Другой – дворовый мальчишка, который только начал постигать этот мир.

– Мне и всем ребятам в классе кажется, что вы всё видите, а слепым притворяетесь. Например, на прошлой неделе, помните. Петька нам рассказал, что фильм классный про басмачей идёт. Видел уже, но ещё бы раз посмотрел.. Надо только с урока сбежать. Стыдно мне, конечно, но в кино хочется. Договорились, если он незаметно выскользнет за дверь, то и мы с Танькой Боженовой следом. Петухов специально оставил дверь в класс приоткрытой, чтобы она не скрипнула. В середине урока он на цыпочках крался к двери. Затаив дыхание, всем классом наблюдали за его передвижением: уйдёт или не уйдёт. Крутили головами: то на вас, то на Петьку. А вы были заняты прокалыванием своего таинственного журнала. Он уже выставил за дверь свой портфель, ещё мгновение… он – в коридоре. И вдруг: «Петухов, закрой дверь, сядь на место!» Ваш строгий голос обрушился на нас, как снег на голову. Петька грохнулся в дверях, закрыл их, по-пластунски приполз к парте. А портфель так и остался в коридоре.

– А на какой фильм хотели сбежать?

– «Белое солнце пустыни».

– В учительской много о нём хорошего слышал. Если вам хочется, то обязательно сходите, не откладывайте, но не за счёт знаний, получаемых в школе, – учитель помолчал. – Жаль, не смогу его увидеть, только если послушать… – Улыбнулся и продолжил: – Серёжа, никому не рассказывай, пусть это будет наш секрет. Я действительно ничего не вижу. Но могу сказать, что человек, лишённый зрения, лучше слышит окружающий мир и улавливает даже еле заметное дуновение ветерка. Поэтому твоего друга Петьку я вычислил сразу, как только он перекрыл свежий воздух, поступающий из коридора.

– А время, время как вы видите на часах? – не унимался я.

– Это совсем просто! У меня особенные часы, сделанные на заказ. – Учитель вытянул руку, на запястье показался большой циферблат. Провел по стеклу, нажал сбоку, и на моих глазах откинулась крышечка-стекло. Он положил указательный палец на оголённые стрелки и определил время с точностью до минуты. – Вот, Серёжа, никакого фокуса. Всё просто!

Любопытство было сильнее приличия:

– Как оценки нам ставите, как вы пишите? Не могу понять!

– А вот этой науке, брат Серёжка, я учился не один год! До войны я начал учиться в институте, хотелось закончить его, потеряв зрение, лишился этой мечты. Но однажды сказал я себе: «Нет! Не для того я воевал четыре года в танке, чтобы как слепой крот, безмолвно рыть землю и ждать своего конца. Я ведь человек!» – Казалось, что учитель смотрит прямо на меня. – Узнал, где и как можно научиться читать и писать, используя рельефно-точечную систему Луи Брайля. Луи Брайль француз, ему было всего пятнадцать лет, когда потерял зрение. Он разработал специальный шифр, где для изображения букв используются шесть точек. Представляешь, шесть точек! Это и буквы, и цифры, и ноты, и знаки препинания! Продавливаю шильцем бумагу – пишу – и оставляю на ней

бугорки. «Писать» приходится с обратной стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница переворачивается, и текст читается слева направо! – Андрей Алексеевич опять взъерошил мои вихры. Засмеялся. – Удовлетворил твоё любопытство?

– Вот здорово! А вы институт закончили?

– И институт закончил, и музыку пишу для слепых одарённых детей.

Меня понесло:

– А про вас в школе говорят, что ваш танк горел, вы ослепли и надели чёрные очки. После госпиталя снова фрицев бить пошли, так они вас боялись, потому что вы в очках видеть стали лучше, чем они! Это правда?

Мой вопрос до слёз рассмешил учителя. Он снял очки, вытер платком промокшие глазные рубцы, потом ответил:

– Да нет, конечно! – Немного помолчав, улыбнулся, вздохнул глубоко и заговорил: – Горел наш танк не раз. А при штурме Берлина активизировались панцерфаустники. Они стреляли по нашим танкам из своих одноразовых гранатомётов из окон, из подвалов, с крыш, из-за угла. Но мы продвигались вперёд. Братья-пехотинцы и мы уже видели впереди Рейхстаг. Хотелось МИРА, ПОБЕДЫ, скорее УВИДЕТЬ родных. Только темнота удержала нас от наступления. На ночь устроились в брошенной квартире, танк – во дворе. Сели за стол, зажгли свечу и стали есть. Вдруг кто-то чихнул в шифоньере. Схватились за оружие, приготовились к стрельбе. «Хенде хох! Руки вверх!» – крикнул я и шумно передёрнул затвор автомата. Дверь шкафа медленно со скрипом открылась, и мы увидели в тусклом пламени свечи глаза ребёнка. Это был мальчик лет десяти-одиннадцати, почти как ты. Чумазый, с испуганным взглядом, он вылез и поднял руки. На нём были порванная солдатская куртка и шорты. Стал что-то быстро бормотать по-немецки, поглядывая на стол. Я понял, он голоден. Усадили его рядом, дали хлеба. После каждого откусанного куска он говорил: «Гитлер капут!»; и, не разжёвывая, проглатывал. Мы смотрели на него и молчали, даже забыли про еду. Видно, в ту минуту каждый вспомнил дом, детей, братьев…Я принёс из танка свой баян, с которым не расставался все четыре года войны. За песнями, воспоминаниями и рассказами мы так и встретили рассвет. Тот далёкий, победный, мой последний рассвет сиреневого мая, который я видел своими глазами…

Всё загрохотало с ещё большей силой. Небо стало красным от битой кирпичной пыли, а воздух – вновь горьким и едким от пороховых газов. Вперёд мы продвинулись не более ста метров. Сзади в корпус танка влетел огненный заряд. Ослепительный свет жаром обдал меня. Я ослеп и потерял сознание. Очнулся уже в госпитале. Темнота. Кто-то рядом разговаривает. Пытаюсь пошевелиться, а тело ноет и не слушается. «Андрей, очнулся?» – узнал знакомый голос своего механика танка. Я сжал его руку. «Победа! Победа, товарищ командир! – обрадовал он меня. – Германия капитулировала! Братья-пехотинцы поймали того фаустника, что наш танк спалил. Сдали его в комендатуру. Оказался тот самый пацан, что в шкафу сидел, которого мы кормили. У него там и панцерфауст был запрятан. А баян ваш в целости и сохранности доставлен в госпиталь. Только вот немного от огня верхние клавиши почернели, а так с виду всё целёхонько осталось. Не переживайте, товарищ командир». Механик растянул меха, и я услышал родной голос своего боевого друга. Мне захотелось быстрее стать в строй и ощутить под пальцами опалённые огнём войны кнопки. На поправку быстро пошёл. Скоро в палате играла музыка, собирая половину госпиталя. Я играл и думал: «Кому я нужен слепой с изуродованной душой и телом?» Плакать хотелось. И вдруг прозрел – нужен. Родным своим нужен. Вот тебе, Серёжка, нужен. Дружку твоему Петьке нужен. А за Берлинскую операцию наш экипаж представили к Орденам Славы, а мне Орден Отечественной войны первой степени дали.

Учитель замолчал.

– А у нас вокруг школы много сирени. Сейчас так красиво цветёт, а пахнет… – не знаю, для чего я это сказал.

Прибежал Петька с веткой сирени в руках.

– Никак сиренью запахло? Только запах и помогает «увидеть» тот победный сиреневый май, – сказал Андрей Алексеевич и улыбнулся.

– Да я аккуратно веточку отломал. В классе поставим, – стал оправдываться мой дружок.

– Всё хорошо, Петя, не переживай, – успокоил его учитель.

Мы повели бывшего танкиста в школу.

Я заглянул в класс, подошёл к лежащему на стуле баяну. Осторожно провёл рукой по обгоревшим кнопкам. В дверях появилась физиономия Петьки.

– Ты что тут баян трогаешь?

– Эх, Петька! Для нас это просто баян, а для Андрея Алексеевича это настоящий боевой друг.

Звания дипломанта **Живнач Светлана Геннадьевна** – публиковалась в литературных журналах, сборниках стихов и прозы, газетах. Живёт в Минске.

Встреча

(посвящается бабушке и трём её сестрам)

Стук колес поезда не давал уснуть, хотя спать Анэте хотелось. Но нельзя: нужно было быть внимательной, чтобы не прозевать свою станцию. Она первый раз в жизни ехала поездом. Машинист товарняка согласился пустить её в вагон, где она укрылась в углу среди ящиков и настороженно смотрела вокруг. Иногда сквозь щели вагона пробивался тусклый свет, значит, проезжали крупную станцию. Женщина в эти моменты подрывалась, пытаясь что-то разглядеть сквозь не плотно прилегающую дверь вагона, но почти ничего не успевала заметить, только вдыхала клубы паровозного дыма, заставлявшего слезиться глаза. Завтра вечером, если ничто не помешает, она сможет увидеться с мужем. Военная часть, где он с другими недавно призванными красноармейцами завершали подготовку, располагалась в небольшом городке на житомирщине, туда и направлялась Анэта.

Поезд, не дойдя пары вёрст до разбомбленной станции, остановился среди небольших холмов, поросших редким ельником, который под нависшим тёмно-серым небом выглядел достаточно мрачно. Немногочисленные пассажиры повыпрыгивали на насыпь и неровной, измотанной войной цепочкой двинулись в сторону почти не тронутого тремя годами войны городка, о чём свидетельствовали редкие сожженные дома, кое-где выщерблины пуль на стенах от мимоходом коснувшихся их обстрелов.

В вечернем полумраке небольшая кучка женщин, как испуганная птичья стая, прижималась друг к другу у КПП. Накрапывал мелкий дождь, ветер трепал платки и полы одинаковой сероватых оттенков одежды, заставляя и без того съёжившихся ожидающих ещё сильнее кутаться в выношенные полинялые пальтишки.

– Адась! Я здесь, – узнав своего мужа, Анэта схватила огромную котомку и бросилась вперед.

Он неуклюже, будто стесняясь, обнял. Постояли молча.

– Доехала, – ласково гладя её обветренное лицо, протянул он. – Как ты управилась только?

– Ой, не спрашивай, как-то добралась. Вот, первый раз в жизни поездом проехалась.

– Пойдем. Холодно здесь стоять. Я тут на одну комнату договорился, мужики помогли, согласились. Пойдем.

«Похудел, будто вытянулся вверх, а глаза как угли горят», – шагала следом к какому-то полуразрушенному зданию Анэта.

– Ну вот такие хоромы нам на ночь. Зато тепло, – показал рукой в сторону небольшой печки Адась.

В тесной комнате располагались кровать, стол и какие-то ящики, присев на один из которых, Анэта стала развязывать платок.

– Я тебе вот поесть привезла, – сбросив пальто, она подошла к столу и начала разбирать свой узелок.

– Потом, – мужчина подошел и стиснул жену в объятиях. – Потом.

Страстные поцелуи, крепкие объятия. Все происходило быстро, резкие движения, непослушная мешающая одежда. Анэта задыхалась, было иногда даже больно, но она молча терпела, как можно сильнее сжимая Адася истосковавшимися руками. Муж никогда не был с ней особенно ласков, но сейчас хотелось запомнить все: каждое прикосновение, крепкие руки, горячие губы. И только не думать, что это, может, последний раз...

Потом лежали на кровати, Анэта тихонько замерла, прижавшись к Адасю, боялась пошевелиться, жмурилась, стараясь не думать, где они сейчас и что на самом деле вокруг.

– Ты извини, что я грубо, соскучился, сама понимаешь, – неожиданно произнес Адам.

– Все хорошо, – ответила Анэта.

– Как дети? Как вы там?

– Дети у бабы с дедом. Ничего, потихоньку как-то живем. Картошка в этом году неплохая выросла. Недавно коня нашего перегнали на хутор к твоим, там всё-таки спокойнее. Жалко, если заберут. Лёдя одна сама на нем через лес добиралась. А вас скоро уже на запад?

– Скоро, но никто не говорит когда, – мрачно процедил мужчина. – Так что ты там привезла, давай, ты ведь тоже с дороги голодная.

– Да, сейчас, давай еще минутку полежим.

На рассвете сгорбленная усталая женщина выходила через КПП. Ей вослед смотрел мужчина, в непослушных пальцах которого все не хотела раскуриваться цигарка.

«Не плакать, только не плакать, » – по дороге к поезду твердила себе Анэта. И только когда удалось

договориться с машинистом и забиться в пустой угол вагона, она дала волю слезам. Дорогу назад почти не запомнила.

А потом были редкие письма.

А потом кончилась война.

И пришло еще одно письмо, в котором значилось «Пропал без вести».

Звания дипломанта **Синицкий Геннадий Николаевич –** родился в 1973 году. Член литературно-художественного клуба «Шкатулка», номинант и лауреат литературных конкурсов и премий. Член Российского союза писателей. Живёт в городе Невель Псковской области.

Зёрна зла

Эта история началась осенью 1942 года, к тому времени западные районы Калининской области ещё находились под оккупацией вермахта. В одном из них, среди глухих лесов, затерялась деревня Дербиха, в которой проживала семья Масловых. У Захара и Марии было девять детей. Старшие, Макар и Борис, ещё до войны были призваны в ряды Красной Армии, третий сын – Максим, за неделю до описанных мной событий ушёл в лес к партизанам. С родителями оставались Семён, которому на днях исполнилось восемнадцать лет и пятеро младших – один меньше другого.

Когда в деревню пришли немцы, перед жителями встал выбор, кого назначить старостой. Если желающих не находилось, как правило, присылали чужого, не местного, что только ухудшило бы и без того незавидное положение крестьян. Поэтому на сельском сходе выбрали Захара, который

вроде как и должен был прийтись по вкусу новой власти.

До революции Захар Матвеевич был в числе зажиточных селян из рода панцирных бояр. Имел домашний скот, пашню и большой плодовый сад. Во время становления советской власти в колхоз не вступал, даже вырубил все яблони в своём саду, чтобы не платить налоги Советам, пустил под нож весь домашний скот, оставил только коня и берёг его, как зеницу ока. От выселения в отдалённые земли и раскулачивания Захара спасло только вступление супруги Марии в колхоз. Ну, а так как Захар Матвеевич был обучен грамоте, ему пришлось работать в коммуне писарем. Такие вот времена были непонятные. Злые языки шептались, мол, став старостой, Маслов вернёт всё своё потерянное с лихвой да будет служить немцам, как верный пёс. Однако лишь единицы знали, что Захар имел прямую связь с партизанами «Чкаловского» отряда, передавал информацию, снабжал продовольствием, фуражом, одеждой. Поэтому командир партизан Сергей Дмитриевич Пенкин не испытывал особой радости, когда в его отряд пришёл сын Захара Максим. Своим поступком юноша поставил под угрозу существование налаженного канала связи. Ведь за такое старосту по голове не погладят.

Опасения Пенкина оказались не напрасны, полицай Игнат Гордеев написал донос на старосту, намекая на его связь с партизанами – мол, Захар плохой хозяин, раз сына не удержал, а может даже и сам его отпустил.

Фашисты очень серьёзно относились к любого рода доносам, даже анонимки проверяли тщательно и по несколько раз. Население держали в строгом повиновении и сурово карали даже за малейшую провинность.

Маслова доставили в комендатуру, где жестоко избивали трое суток. Его оставили в живых, но поставили перед ним обязательное условие: Захар должен был прилюдно осудить поступок старшего сына, а младшего – Семёна, отдать на службу в полицию, в противном случае вся семья подлежала расстрелу.

Уходить в лес с малыми и грудными детьми не представлялось возможным. Кроме того, за такой поступок немцы могли не только сжечь всю деревню, но и покарать родню в соседних сёлах. Поэтому очень скоро в районе появились оккупационные листовки с призывом старосты Маслова не оказывать помощь партизанам, а Семён, надев ненавистную форму полицая, был направлен в охрану железнодорожного моста на дороге «Невель-Полоцк». Конечно, после этого по округе начали ходить разные слухи. Захар Матвеевич всё чаще ловил презрительные взгляды односельчан, но на этом беды Масловых не закончились. Спустя месяц, в ходе карательной операции «Клетка обезьян», у деревни Червоеды, полицаями был схвачен Максим. Его не расстреляли только потому, что немцы задумали сделать показательную казнь в Дербихе.

Лупцованного деревянными палками юношу, в изодранном, пропитанным кровью исподнем белье, босого и еле стоящего на ногах, пригнали к отчему дому. Гордеев советовал повесить Максима у хаты старосты, но командир айнзацгруппы обер-лейтенант Шторк распорядился сделать виселицу у сельской конторы, в центральной части деревни возле пожарного рельса. На казнь приказано было явиться всем жителям деревни.

Максима заперли в хлеву ближайшей к конторе хаты, выставили охрану. Позже к нему посадили младшего брата Семёна (опасались, что сбежит), ему отводилась роль палача, который выбьет табурет из-под ног партизана. Идея Гордеева назначить брата исполнителем приговора понравилась немецкому офицеру. Шторк предвкушал резонанс этой устрашающей новости, которая заставит многих людей в районе отказаться от идеи помогать партизанам.

Всю ночь младший брат сокрушался о выпавшей на его долю участи. Братоубийство – один из

самых страшных смертных грехов. Семён проклинал лютого изувера Игната. Причина их неприязни была всем известна и жила через три дома от Масловых. Это – Шурка Устинова, которая дала «от ворот поворот» назойливым ухаживаниям этого тридцатилетнего дылды и выбрала молодого, красивого ровесника.

Максим понимал, что Сёмку после казни проклянут в округе, а если откажется, всех Масловых повесят там же. В любом случае у Гордеева теперь уже не будет преграды к Шурке.

Решив как-то отвлечь младшего от горьких мыслей, старший рассказал о своей любимой – Яне Стоцкой, что жила в Червоедах, и просил Семёна позаботиться о беременной зазнобе. Уверял брата в мудрости односельчан, которые всё поймут и не станут осуждать. Просил передать поклон родителям и просьбу простить его за то, что накликал беду на семью.

Утром крепко подморозило и дорожная гвазда покрылась ледяной коркой. Максима вели четверо полицаев, тянули за веревку с петлёй на шее, а Гордеев одергивал её с силой каждый раз, когда Маслов спотыкался о застывшие комья грязи на дороге. Поодаль за ними шёл понурый Семён, вид у него был мрачнее тучи.

У сельской конторы уже робко поёживались жители Дербихи, старались держаться семьями, близко к виселице не подходили. Когда партизана подвели к шибенице, Игнат перекинул конец линька через перекладину и с силой потянув за него, заставив Максима встать на табурет. Мария громко запричитала, прижимая к себе детей. Захар с горечью смотрел на эту страшную картину и до хруста сжимал кулаки, стараясь встретиться взглядом с сыном. Взвод немцев стоял у конторы полукольцом, держа оружие на боевой изготовке. Шторк взмахом руки позвал к себе Семёна, что-то сказал ему, а затем указал пальцем на табурет. Спрятав руки за спиной, немецкий офицер сделал полуоборот в сторону старосты, но Захар смотрел только в сторону сына. Их глаза встретились за секунды до рокового момента.

Когда табурет упал, и тело партизана забилось в смертельных конвульсиях, Гордеев подбежал к Шторку и что-то ему сказал. Немец не спеша подошёл к Семёну, размахнулся и... похлопал его по щеке. Затем обнял за плечи и приказал солдату с фотоаппаратом сделать снимок.

Зёрна зла были брошены в землю.

В ответ на показательную расправу партизаны провели многочисленные акции возмездия против гитлеровцев: взрывали мосты, пускали эшелоны под откос, нападали на немецкие гарнизоны. Командование вермахта стянуло в район моторизованные соединения, артиллерию, танки, прибыла охранная дивизия «Рихтер». В ходе карательных операций «Зимний лес», «Зимнее волшебство», «Шаровая молния» в районе были сожжены и разграблены сотни населённых пунктов, тысячи людей были убиты, угнаны в лагерь смерти «Саласпилс».

Жители Дербихи разделили печальную участь Хатыни, лишь единицы успели спастись. Осталась жива и Александра Устинова, её спас Семён, который за пару часов до страшного события прибежал в деревню предупредить сельчан. Ему не поверили.

Захар и Мария Масловы не смогли вырваться с детьми из плотного кольца карателей группы Шевелеры, окруживших деревню, семью вернули и сожгли в родном доме. Весной 1943 при атаке партизан на железнодорожный мост, в деревне Железница, Семёна убили. Не вернулись с войны и Макар с Борисом. Но роду Масловых суждено было продолжиться. Яна Стоцкая родила сына и назвала его в честь погибшего отца Максимом. За связь с пособниками фашистских оккупантов Шура Устинова была осуждена и отправлена в ссылку, из которой вернулась только в 1953 году с десятилетним мальчуганом по имени Семён.

Много воды утекло с тех пор. Мальчишки выросли и обзавелись семьями, но лютая ненависть Максима к Семёну с течением времени переросла в настоящую вражду поколений между родственниками и не давала даже малейшего шанса на примирение. На рубеже столетий в сёлах люди начали собирать деньги на восстановление храма. Михайловская церковь была закрыта ещё с тридцатых годов прошлого века. После войны её почти всю разобрали по кирпичику. Строили новые дома в деревнях, а в них из этого кирпича ставили печи. Получается, брали у Бога взаймы, а теперь решили вернуть долг сторицей.

Храм восстановили за три года. На его освящение приехал епископ, а с ним и новый настоятель прихода – отец Даниил.

На первую службу народ собрался со всей округи. Священник читал проповедь «О пшенице и плевелах» от Матфея. Подробно объяснял всё прихожанам, а в самом конце коснулся трагедии семьи Масловых и сказал, что его долг – смыть с Семёна клеймо братоубийцы. Во время той казни младший брат не выбивал табурет из-под ног Максима. Старший соскользнул сам, специально. Это очень хорошо видел Гордеев, поэтому он сразу поспешил доложить об этом немецкому офицеру. Шторк хотел избить Семёна и тут же повесить рядом с братом, но тогда бы его дьявольский план рухнул. А так, через оккупационные листовки, народ устрашили, что виновных в связях с партизанами будут казнить их же родственники.

Когда у священника спросили, откуда он знает об этом, Даниил ответил, что родился недалеко от Воркуты, в глухом посёлке, где после отбытия каторги поселился его отец Игнат Гордеев, грехи которого ему придётся всю жизнь замаливать перед людьми и Богом.

Звания дипломанта **Чернов Сергей Валентинович** – родился в 1988 году в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. Окончил Воронежское областное училище культуры. Работает в сельской библиотеке. Живёт в село Хреновое.

Туман

Деду,
Лукьянову Александру Трофимовичу
посвящаю.

Дымок от затушенного костра поднимался тонкой струйкой, еле видной в сумерках. Шумели сосны, покачиваясь на ветру, гуляющему высоко. Кряхтела груша-дичка посреди поляны скошенной травы, как старуха, что через боль в костях ещё старается что-то сделать – прибрать, подмести, – так и она вот-вот согнётся и прикроет голыми от старости ветвями флягу с холодной питьевой водой.

Весь день мы сгребали сено в валки, и они лежали теперь, как выползшие из-под земли – в темноте, на лесной поляне.

От работы гудели руки. Усталость жгла под веками. Хотелось спать, но после дневной жары было зябко, и комары зудели, лезли в лицо. А укрыться от них с головой – дышать тяжело, душно, да и куртки пропахли дымом.

Я ворочался с боку на бок, вытягивал ноги, замерзал, укрывался, сбрасывал куртки, махал руками, отгоняя комаров; застеленная сеном телега казалась мне узкой, а воздух – душисто-сладким.

Отражаясь в тракторном стекле, зажигались звёзды. Над верхушками сосен встал яркий месяц, осветив скатерть поляны, валки, заросший обрывистый берег. Мне всё ещё чудился в руках гладкий черенок граблей, и казалось: вот-вот и снова вставать, сгребать, но теперь уже звёзды в одну большую бриллиантовую копну. Ворочаясь, я видел поляну, и она при лунном свете всё уходила вдаль, расширялась и сливалась с соснами где-то совсем далеко. Как вдвоём её осилили – ума не приложить.

Да, сна не видать – хоть вставай. И вправду, встать что ли, взять удочки, попробовать порыбачить… Битюг здесь глубокий, одни омуты. И вода ледяная. Пот смыть и то страшно, из ведра охлынёшься – сердце застывает. А месяц уже там, должно быть, в реке, точно слиток золотой на дне лежит. И звёзды блестят, заглядывают в белые глаза кувшинок… Нет, раз лёг – уже не встать, лень. И дед не спит – шумно зевает, вяло отгоняет комаров. А может, я ему спать мешаю…

От Битюга поднялся густой туман, как молочно-белый дух реки. Низко стелясь, он пополз во все стороны. Коснулся груши и фляги у её ствола. Упёрся в тракторные колёса. Скрыл под собой сундучок с едой и деревянные грабли.

– Да, тогда тоже туман был, – сказал дед как самому себе.

Я повернулся к нему и так же тихо спросил:

– Когда? В прошлом году?

Дед лёг на бок и засмеялся, как смеются старики, тяжело втягивая воздух.

– Ну уж, «в прошлом году»! Годков много прошло…

Он замолчал. И я молчал тоже. Тишина, казалось, гудела, мучительно что-то храня в себе.

Хлопнув комара на шее, я не выдержал:

– Ну что? Туман – что?

Дед повернулся на спину и грубой ладонью потёр щетинистый подбородок:

– Годков много прошло… Да-а-а… Ещё в войну. Это сколько?.. А-а-а, девятого скажут. Девятого всё: и как губили, и как бомбили, а десятого – молчок. И то хорошо. Хоть так… – Он вздохнул, пожевал губами. – И то… Мы раньше работали не то что нынче. Денег им подавай побольше, хлеб с маслом. Мы работали, так работали. Зачем, для чего – знали. А сами – четырнадцать годков. Худые, как спичка, хоть на фронт посылай – в упор стреляй, не попадёшь… Э-хе… А лето – тут наскребай мозоли. Колхоз. И дома в стороне не стояли. А вечером с колхозным конюхом, Зелёновым дедом, коней в ночное гоняли. Зелёнов Алексей Иваныч – был такой. Старик. В фуфайке ходил зимой и летом. Чёрная такая, засаленная, аж блестит. Вот тебе: «зимой и летом одним цветом»… Нас человек десять одногодков. У каждого лошадь своя, любимая. Кто себе выбрал – чужой не тронь, а то получишь. Ну, какая там драка – потолкаемся, а потом сопли утрём, и опят не разлей вода. Обычное дело: повздорили, поспорили – и ветерком выдуло, как не было ничего… Да, такие дела… И вот у каждого лошадь «своя», и он вокруг неё так и вьётся, так и вьётся… У меня Весёлый был. А чего Весёлый? Чёрт его знает! А так смотришь – улыбается вроде, глазами. Казалось… Раз Весёлый, так улыбаться должен... И мы, значит, играем, боремся, то скачки устроим, то ещё что… Да-а-а, вот… И то, какая это работа? Забава одна. Друзья, лошади тут, целый вечер смеху, аж щёки дубеют. А тут – вечером тем – на Бабье болото поехали. Дед травы накосил, а мы её в кучу – постель вроде… Кхэ!.. – Дед громко закашлял, прикрыв рот кулаком. Доски телеги слабо скрипнули. Дед вытер губы. – Во-о-от… Тут уж ночь. Глаза слипаются. За день намаялись, ноги как мякоть. Травы… кхэ… насте.. кхэ… настелили, зарылись в неё, а холод – не уснёшь. Дрожим, ворочаемся, глаза слезятся, холод – до костей. Ну, слежалась трава. Согреваться стали кое-как… по чуть-чуть, помалу. Тут уж угомонились… Да, тут уж не заметишь, как уснёшь – с усталости, в тепле… А дед Зелёнов в подводе спал. Он любил там. Каждый раз... – Дед замолчал. Он лежал на спине, сложив руки на животе поверх курток. В свете луны было видно, как он вытянул губы, будто вспомнил какую-то старую мелодию и собирался тихо её насвистеть. Он зевнул – сладко, протяжно. Продолжил: – Сколько спал, не помню. Проснулся – только брезжит. Туман кругом густой, как сметана. А начинается вот так, в полуметре от земли. Я на колени встал – голова в тумане, а сам нет. Туман сырой, холодный. А мне интересно. Туман вверху, а над землёй видно. Лошади вдали ходят – одни ноги видно. Чудно́ так… Ладно. Смотрю, лошадь одна ближе идёт. Я… Сердце как об сковородку бьётся. Какая ж это лошадь?! Ноги человечьи! Двое идут, и как-то медленно, с опаской, будто лишнего шума сделать боятся. У меня во рту пересохло, воздух холодный аж до кишок проходит. Ближе… Ближе… Я лег как мёртвый. Страшно – жуть. А эти – ближе. Через туман фигуры видно, размыто так, еле-еле, а видно. Сердце – и в горле, и в ушах. А они вплотную уже. Мне и дышать страшно. Сердце щемит, всё громче, громче бухает, вот-вот, думаю, услышат. И шевелиться боюсь – заметят. А затылок как назло чешется, и шея немеет – вот хрустнет… А они на меня, сейчас на ногу наступят… Смотрю, остановились. Сквозь туман фигуры просвечивают, а что там на них, какие они – не видно. Ну, думаю, и меня не видно... А может, услышали? Стоят, прислушиваются: где это сердце бьётся?..

– Так чего боялся? – Я пододвинулся поближе. – Заблудились…

– Да… – Дед хмыкнул. На щеках его заиграли желваки. – Заблудились… Нашли где. Когда заблудятся, молчком не ходят. Тихо так они, словно прячутся. А уж когда встали… Чего им бояться? А эти… и как стоят, и сапоги – обычные сапоги, а как-то… Всё так, да не так. Что-то… – как сказать? – нехорошее… Человек, когда стоит, по нему видно. А эти… Да-а-а… И страшно, сердце разбухает. Дышу через раз, в груди жжёт, а всё громко как-то… Тут один нагнулся. По мне пот градом. На землю что-то ставит. Видно, вниз не смотрел, а поставил чуть не на ногу мне.

Смотреть неудобно. Чемоданчик какой-то небольшой… Раньше у железнодорожников были. Коричневый… Саквояж, что ли?.. Железнодорожники с такими ходили – у них там ключи всякие, всё такое… Смотрю на ноги им, а они друг к дружке повернулись и молчат. Вот, думаю, сейчас нагнётся – и в меня глазами… Зажмуриться хочется, а не могу… Они развернулись. Тот боком согнулся так, ручку нащупал, поднял – в другую руку, стало быть, взял. Прочь пошли… Уходят – дальше, дальше… И тихо, как с опаской – ступают неслышно. В сторону от лежанки нашей и от повозки ушли… Уж невидно их, и ног их невидно, а я всё лежу; дышать, шевелиться не могу никак… Сколько лежал, не помню. Тут уж туман бледнее, бледнее… Я кое-как, ползком к повозке. Мурашки по коже бегают. Знаю, ушли, а кажется, где-то здесь ещё – того и гляди в сапог упрешься. Подползаю – дед спит, голову запрокинул. А если б захрапел?.. У меня ком в горле, слёзы к глазам подступают. Так захрапел бы – и всё… Подушили бы нас как котят. А дома тепло… и мать…

– Да, дед, на войне не был, а страху натерпелся…

– Да… – Дед потёр щёки изрезанные глубокими морщинами. – Я деда Зелёнова за рукав, а он меня матом: иди, мол, отсюда, спи!.. Я всё тяну, рот разеваю, как рыба. Он проморгался спросонья: «Чего?» Я кое-как ему: «Два, два…». И пальцем: «Туда… туда!..». Он слез с повозки, посмотрел: да, трава в росе, по росе хорошо видно – следы. Пальцем мне: «Молчи!» Сам лошадь поймал и поскакал в сторону села. Ну, в Хреновое то есть...

Тут уж совсем светло. Я стал ребят будить. А у самого холодок – это ж надо, думаю, ни одна душа не храпела. Тут каждую ночь кто-нибудь да устроит, а сейчас… Бог уберёг. Засвистел бы кто носом, и что тогда?.. Ребята сонные. На меня нуль внимания. А так ведь хочется, чтоб кто-нибудь спросил, куда это дед делся, и что это я такой?.. Дед молчать велел, а так хотелось сказать… Аж внутри ходуном ходило! И хочется – и нельзя… И весело так после страха. И гордость какая-то! Это ж не просто так! Это ж я молодец! Да-а-а… А тут внимания – нуль. Обидно, не приведи Господь. Собрались, лошадей домой погнали, а я всю дорогу представляю, как меня по плечу хлопать будут: «Молодец, Санёк! Герой – что ты!»

А в это время в здание школы солдат пригнали. И вот они все куртины, все солотя – как учение. Цепочкой выстроились, и давай прочёсывать. То и дело: «Ура! Ура!» Вроде в бой идут. Вечером смотрим: солдаты на краю села появились. Четырёх человек ведут в железнодорожной форме… Все, кто был, на улицу высыпали, галдят, обсуждают: «Кто такие? Кто такие?» А я как крикну: «Это я! Это я их!.. Только их двое было!.. Я деду Зелёнову сказал!» И тут мне затрещина – в глазах потемнело. Я в слёзы. Мать меня за ухо – и в дом. «Молчи, собака, – говорит, – смерти нашей захотел?!» Да… Немцы уже на Дону стояли. Хреновое бомбили… Здесь на станции – эшелоны военные; а в степи самолёты стояли… Среди соседей были и такие, кто немцев ждал уже… А если б немцы в Хреновое пришли, чёрт знает, что б сделали за мой-то подвиг… И со мной… И с матерью… Со всей семьёй…

Дед лёг на бок и закрыл глаза. Говорил он всё медленней, всё тише…

– Мне четырнадцать стало… в июле, сорок втором… Трактористом стал… В нашем отряде женщины, да такие, как я… В две смены работали: день, ночь… В полевом стане жили. Домой не пускали обмыться, одежду сменить… Ночью страшно… Глаза слипаются, а трактор без кабины. Задремлешь, и вниз… под колёса… Случай был… парнишка… уснул… Раздавило… По двое… стали… – Дед замолчал, дышал глубоко, ровно – уснул.

В первый раз в жизни я пожалел, что не могу видеть чужой сон. Снится ли ему туман, эти ноги или затрещина матери? А может снится ему, как дурачились они, скакали на лошадях, вздорили и быстро мирились? Как были счастливы счастьем юности, той, которую не убьёт, не отнимет ни один враг, и в душе от которой останется самое доброе и светлое… Нет ничего ярче детства. Даже

детства, в котором была война…

Отчего-то мне было грустно.

Туман исчез, лёг дух реки в своё извилистое крепкое русло. Чаем пахло сено. Луна уже много прошла, по-хозяйски вымеривая ночное небо. Комары пропали, видно, холодно стало для них… Да и что они нам теперь?..

Я потеплее укрылся куртками, но спать не мог. Я думал.

Да, это крохи, малые крохи… Но главное не потерять их, сохранить. Сколько ещё нерассказанных историй? Сколько историй, которые уже никогда не будут рассказаны? Все их нужно узнать, все их нужно сберечь, донести до людей. Иначе погибнут они. Погибнут те дети, солдаты, те города и сёла. Погибнут наши отцы и деды. Погибнут… И уже не будет средств вернуть их обратно…

Утром мы погрузили сено в телегу. Солнце уже припекало. Железо тракторной кабинки нагрелось и жгло руки. Поляна казалась коротко подстриженной зелёной головой.

Взревел тракторный движок. Громкое эхо пролетело над Битюгом, заблудилось в деревьях, пугая птиц. Мы тронулись в путь по узкой лесной дороге, по колеям, ведущим домой.

Поляна осталась за поворотом, рассыпалась в частоколе сосновых стволов.

Сколько лет прошло, а ни разу не довелось мне вернуться туда. Уж и не знаю теперь, есть ли она ещё, та поляна? Цела ли та груша, тот обрывистый берег, ледяная вода? Да, есть история и память, но нет и не будет дорог, ведущих назад, в прошлое…

Добавить комментарий

Комментарии